

ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ Владимирович.

Автобиографическая повесть

Памяти моих друзей Бориса Батуева и Владимира Радкевича

### ИСТОКИ СУДЬБЫ

Я родился в городе Воронеже 1 января 1930 года. И нынче сохранился в Больничном переулке родильный дом, где я впервые увидел свет. Теперь улица называется по-другому, а дом цел, и коренные, старые воронежские жители до сей поры называют его вигелевским (по имени дореволюционного владельца Вигеля).

Моя мать, Евгения Митрофановна Раевская, родилась в 1903 году в бедной многодетной семье прямых потомков поэта-декабриста Владимира Федосеевича Раевского. У Раевских был небольшой деревянный дом под Касаткиной горой (сейчас улица Авиационная). Дом цел до сих пор. Несколько лет назад мы были в нем с матерью.

Дед мой по матери, Митрофан Ефимович Раевский, потомственный дворянин (дворянство было возвращено потомкам В. Ф. Раевского в 1856 году), служил в Воронеже. Должность его была невелика, приблизительно соответствовала нынешней должности начальника городского телеграфа, пожалуй, даже поменьше. Он был очень

В тексте изменены некоторые фамилии и второстепенные географические названия (Здесь и далее примечания автора)

образованным человеком, знал несколько языков (немецкий, английский, французский), отличался либеральными взглядами. В 1914 году он как связист был мобилизован в армию в чине капитана, в соответствии со своим гражданским чином 8-го класса (коллежский асессор), и некоторое время (в 1914-1915 гг.) служил на военно-полевой почте штаба верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Прекрасно владел всеми телеграфными аппаратами того времени (Морзе, Юза, Бодо и др.), отлично знал телефонную связь. Позднее служил во фронтовых частях. Дед был награжден за штатскую службу орденом св. Анны III степени, за участие в боях - орденами св. Станислава III степени с мечами и св. Владимира IV степени с мечами.

Сведения об участии моего деда в гражданской войне долго были противоречивы. Дядя Шура и моя мать уверенно считали, что он служил в Добровольческой армии, теть Катя утверждала, что - в Красной. Но эта тема, по понятным причинам, была в семье запретной. О том, что старший мой дядя, Борис Митрофанович, служил в Красной Армии, был ранен и награжден, было твердо известно. А вот в отношении деда были споры. Вопрос этот, однако, случайно и с безукоризненной ясностью разрешился в конце 60-х годов в старом, теперь снесенном доме Елисеевых на улице Ильича. (Старшая моя тетка Екатерина Митрофановна Раевская вышла замуж за учителя В. Е. Елисеева.) Было несколько Раевских и я с женой Ириной и сыном Володей, еще маленьким. Шел общий семейный разговор, и, в частности, затронули вопрос об орденах деда. Дядя Вася или дядя Шура - кто-то из них - горячо утверждал, что орденов было четыре:

- Я сам их в руках держал, сам ими играл, было четыре ордена - св. Анны, св. Станислава, св. Владимира и "За Кубанский поход".

- Четвертый был не орден, а знак, - сказала тетя Катя.

И все сошлось на этом знаке. Более точное его название - "За Ледяной поход". Этот знак был утвержден А. И. Деникиным после 1-го Кубанского (или "Ледяного") похода в 1918 году. Мне - нумизмату, а отчасти фeralsисту, все стало ясно. Знак этот - сравнительно большой лавровый венок из серебра с мечом посередине - я видел в Белграде или в Париже в нумизматическом магазине. Цена - целое состояние.

В зимнем начале 1920 года дед возвращался из Ростова (где несколько недель лежал в тифозном бараке) и Воронеж. Где-то под Лисками его сбросили на ходу с поезда пьяные революционные матросы, скорее всюю анархисты. Не понравился им офицерский китель деда. Хоть и не было погон, но видно было, что мундир офицерский. Когда выбросили из вагона, дед не разбился насмерть и мог еще идти. Но пока добрался до Лисок, безнадежно простудился - было очень ветрено и морозно, а шинель осталась в вагоне. Доехал до Воронежа и вскоре умер от крупозного воспаления легких. Шел ему тогда сорок шестой год.

Главою семьи осталась моя бабка Мария Ивановна (урожденная Гаврилова, из духовного сословия). А детей было десять. Тяжкий голод, тяжелое время первой половины двадцатых годов. Семья переехала на улицу Перелёшпнскую (дом 176). Жили очень бедно. Золотые ордена деда были снесены в торгсин вместе с золотыми нательными крестами и перстнями.

Мать мою как дворянку в институт не приняли (она хотела учиться в медицинском). Она окончила курсы телеграфистов и поехала работать на станцию Кантемировка. Там она и познакомилась с моим будущим отцом, который работал на почте.

Отец, Жигулин Владимир Федорович, родился в 1902 году в селе Монастырщина Богучарского уезда Воронежской губернии в зажиточной многодетной крестьянской семье. Имели землю и сеяли хлеб, справлялись с урожаем сами, батраков не нанимали.

Дед Федор, по рассказам отца, приехал в Монастырщину из Ельца, вернее из села Большой Верх между Ельцом и Лебедянью, в конце XIX века. Примечательно, что все встреченные мною в жизни однофамильцы происходили оттуда, из того села под Ельцом. Например, в Ялте, в туберкулезном санатории, подходит ко мне официантка и спрашивает:

- Извините, пожалуйста. Моя фамилия тоже Жигулина. Вы случайно не из-под Ельца родом?

- Нет, я родился в Воронеже.

- А отец?

- Отец тоже родился в Воронежской губернии, но дед мой как раз оттуда, из села Большой Верх. Оказалось даже, что мы дальние родственники. В начале 20-х годов, пожалуй, даже чуть раньше, отец мой, поссорившись с братьями и сестрами, ушел из дому. Работал почтальоном. Потом служил в Красной Армии связистом, воевал на Кавказе, был ранен. Прекрасно помню фотографию - он в военной форме с тремя кубиками в петлицах.

Члены семьи Жигулиных хлебнули всякого лиха, происходившего со страной. Муж и два сына тети Зины погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Долгие годы, до самой смерти, она получала пенсию за погибших мужа и сыновей. До реформы 1961 года - по 100 рублей, а после реформы - по 10 рублей за каждого. "По десятке за голову!" - мрачно говорил отец.

Года с 27-го родители жили в селе Подгорном Воронежской области, но не в том, что под Воронежем, а в другом - за Лисками, за Сагунами, на юге области. Село Подгорное, по существу, - главная моя родина. Дело в том, что родился я в Воронеже случайно и раньше времени, восьмимесячным. Мать ездил из Подгорного хоронить мою бабушку, свою мать, умершую в последние дни 1929 года. От волнений и переживаний матери я и появился на свет раньше. Меня еле-еле выносили.

По рассказам матери и теток, был лютый мороз. Весом я был всего в пять фунтов. Согревали меня бутылками с теплой водой, клали их в колыбель. В Воронеже меня и крестили, но не в церкви, а на дому. Из Петропавловской церкви приглашали священника. До войны эта церковь еще была, а сейчас разрушена, снесена. Крестная моя мать - мамина младшая сестра, тетя Вера. Крестный отец - безвестный какой-то

дьячок по фамилии Гусев. Грудным увезли меня в Подгорное, там отец работал уже начальником почты.

О родном моем Подгорном. В стихотворении "Родина" я это село немного "сместил". Оно не вполне донское. В Придонье оно находится - так можно сказать. Дон протекает восточнее, километрах в двадцати пяти, в Белогорье. Через Подгорное же протекает приток Дона - река Россось, или Сухая Россось. Луга с желтыми цветочками - широкие-широкие, меловые горы вдали. А через луга - канатная дорога от меловых карьеров к цементному заводу.

А село обыкновенное южнорусское. Белые хаты, соломенные крыши. Или камышовые. В этих местах Воронежской области Великая Россия постепенно переходит в Малую, и в разговорной речи до сей поры равноправны и русский, и украинский языки. Так я и рос первые свои семь лет - слыша и усваивая одновременно два говора. Мне казалось совершенно естественным, что можно говорить, как мама, а можно - как няня Ивановна, как соседские мальчишки из "хохлацких" семей. А были и русские - "кацапские" семьи. Жили дружно, не ссорясь. Когда мы переехали в Воронеж в 1937 году, я удивился тому, что все там говорят одинаково - как мама. Правильное украинское произношение очень помогло мне много лет спустя в сибирских и колымских лагерях, где много было украинцев.

Приличное знание второго богатого славянского языка помогает мне и сейчас - в литературной, поэтической моей работе. А диалектизмы: русские, украинские, белорусские, польские и иные, которые я усвоил в лагерях, в этом вавилонском смешении многих языков! А лагерный, тюремно-лагерный жаргон, вернее жаргоны разных периодов! Сколько слов, каких ни у Даля и нигде не найдешь! В 1954 году в воронежской 020-й колонии я составил большой словарь лагерной и блатной фени. Но при освобождении у меня эти тетради отобрали, решили, что они подходят под параграф, запрещающий "разглашение сведений о местах заключения". Ах, как жаль мне сейчас этих толстых общих тетрадей!.. Там были не просто сухие "переводы" слов, скажем, "канать - идти", а статьи к каждому слову с примерами из "классики" (чаще всего из лагерных песен, анекдотов, шуток и т. п. фольклора) и из разговорной речи с вариантами значений и т. д.

О подгорненском моем детстве. В эти первые, ранние годы жизни, а затем позже, летом 1942 года, в беспризорных скитаниях узнал, увидел я и усвоил, пережил и принял в сердце многие ставшие мне дорогими обычаи и понятия. Да. Жил еще и в селе Александровке в 45-м году, летом и осенью. Отсюда, из этих истоков, родились позже многие мои стихи.

Ал. Михайлов в одной из статей причислил меня к "деревенской лирике". Это верно и неверно. Разрушенная церковь с березой, растущей на кирпичах у самого креста. Поле. Скрип телеги. Бесконечные проселки и тропинки. И "огурцы на приовражном суходоле", пожелтевшие в 46-м тяжелом году. Все это дорого моему сердцу. И ракитовые колья плетней, выпускающие побеги, и лебеда, и пчелы в камышовой крыше...

Но я поэт и городской. С 1937 года началась моя городская жизнь. Да, с 1937 года - точно. но стихотворению определил:

Было время демонстраций  
И строительных громов,  
И горела цифра двадцать  
Над фасадами домов.

Да, 1937 год. Ежовщина. И 20-летний юбилей Октября. Значит, осенью 37-го я уже жил в Воронеже на улице Лассалья (так переименовали Перелёшинскую). Сейчас она называется улицей Ольминского. Оказывается, сын богача Александрова (трехэтажный

кирпичный дом его стоял в начале улицы) был революционером, и псевдоним его был - Ольминский. А дом красив - с мезонином. И отделяла его усадьбу от уходящей вниз, к реке, улицы Степана Разина высокая каменная стена с тремя красивыми башенками, - как древний замок.

Воронежское детство. Довоенное. О нем у меня есть стихи. Наиболее точное - но выражению чувств, - пожалуй, "Дирижабль". И еще "Металлолом", "Воронеж, детство, половодье...".

Я любил бродить при теплом летнем солнце но сбегаящим к Чернавскому мосту, тихим, мощным бульжником улицам. Особенно после дождя. Идти и смотреть под ноги на камни, но которым только что пробежал ручей. Мелкие камешки, огарки антрацита, ржавые гвозди. А вот - позеленевшая медная монета. Большая. Две копейки. 1798 года. Большая буква "П" с римской цифрой "I" под нею. Петр I?.. Позже я узнал, что не Петр, а Павел. Петр I правил раньше.

Первая моя коллекция монет горела во время войны. Но не все пропало. Расплавилась лишь мелкие серебряные монеты. Медные монеты и полтинники выдержали огонь, я раскопал и нашел их под грудой кирпича и золы весной 43-го года.

А пришла война вот как. Из черного круглого большого репродуктора объявили о ней. Взрослые почему-то очень заволновались. А я спокойно сидел на верхней ступеньке лестницы, ведущей на большой балкон, на второй этаж дома, где жили Раевские. Первый этаж был кирпичным, а второй - рубленый деревянный - из "чернавского" леса. В конце XIX - начале XX века построили новый железобетонный Чернавский мост. А сосновые и дубовые бревна от старого пошли на постройку домов.

Настроения многих взрослых умных людей в первые дни войны были, как позже стало понятным, странными и даже удивительными. Первые несколько дней войны еще не было сводок Совинформбюро: оно еще не было создано. Печатались какие-то довольно бодрые, но неясные сообщения Генерального штаба Красной Армии: "Особенных изменений на фронтах не произошло" и т. п. Муж моей любимой тети Кати Василий Евлампиевич Елисеев, учитель, директор школы, мало того - уже побывавший в начале 30-х годов на Соловках, недоумевал:

- Почему не сообщается, сколько километров осталось до Берлина?.. А! Катя, я, кажется, догадался: командование хочет сообщить радостную весть о взятии Берлина неожиданно, как сюрприз!

В бой за Родину, в бой за Сталина!

Боевая честь нам дорога.

Кони сытые бьют копытами,

Встретим мы по-сталински врага!

Это мы распевали на уроках пения даже весной 1942 года!

Налеты, воздушные тревоги, аэростаты воздушного заграждения. Стрельба зениток. Новенькие блестящие осколки зенитных снарядов. Бесконечные переводы из одной школы в другую: помещения школ занимали под госпитали. За 1941/42 учебный год я учился по крайней мере в шести-семи разных школах.

Но настоящая, самая злая война пришла неожиданно. В июне 42-го года фронт был еще далеко, где-то за Курском, то есть километрах в 220-250 от Воронежа. Отец лечился в туберкулезном санатории в селе Хреновом. У него продолжался тяжелейший процесс в обоих легких. А перед войной отец умирал. Ярко и нынче помню: сидит отец на железной койке, нагнувшись над большим эмалированным белым тазом, и изо рта в таз хлещет алая кровь. Мать водила нас (меня и младшего брата Славу) прощаться с отцом. Низкое желтое длинное здание туберкулезной больницы на Студенческой улице напротив мединститута. За стеклом в окне - отец. Лицо белое, как подушка. Еле-еле улыбнулся. Но удалось отца выходить: наложили ему пневмоторакс и слева, и справа, и

он выдюжил, поднялся.

2 июля 1942 года тихим-тихим, ранним, молочным летним утром проводила мама меня и брата моего Славу (на полтора года моложе меня) в детский санаторий в селе Чертовицком. Это километрах в 20-25 севернее Воронежа - но Задонскому шоссе и направо. Но нас отправили рекой на барже, которую тянул катер-буксир.

Много было детей. Плыли долго, часа четыре. Я и прежде (году в 39-м) был в Чертовицком санатории, но один, без Славки. На этот раз семья разделилась на три части: отец в тубсанатории, я с братом в Чертовицах, мать с младшей, двухлетней, сестренкой в Воронеже. Дня через два-три поползли слухи: немцы прорвали фронт.

Мне потом рассказывали, что город зверски бомбили. Жара. Ясное безоблачное небо. Тишина. Только слышно, как трещат горящие дома. Спокойно, строем - один за другим - "юнкеры" подходят к цели и, даже не пикируя, сбрасывают бомбы на левый берег - на авиационные наши заводы, на завод синтетического каучука, знаменитый СК-2... Двадцать, тридцать, пятьдесят, сто, сто двадцать самолетов! Стирают город с лица земли. И что обидно, удивительно и странно - ни одна зениточка не выстрелила, ни одна винтовка!

Танковые части, не помню какого генерала, в считанные часы прошли 200 километров и ворвались в Воронеж. Они вошли в город со стороны Семилук по железнодорожному мосту через Дон. Наши саперы не успели его взорвать. А с Чернавским мостом получилось еще хуже. Его заминировали, были начеку. Услышали грохот машин на Петровском спуске и взорвали мост... перед нашими отступающими частями, Им пришлось повернуть назад и, неся тяжелые потери, пробиваться к Задонскому шоссе.

Руководство санатория приняло решение отвезти детей в город к родителям. Маленький санаторский автобус был набит до отказа. Я успел втиснуться, но для Славки уже не было места, а оставить его я не мог и не хотел. Пришлось ждать второго рейса. Не дождавшись, узнали позже: вблизи города в автобус попала бомба, прямое попадание. Там было много детей папиных сослуживцев. Отец узнал о случившемся. Вероятность того, что и мы погибли, была велика.

А мы со Славкой пытались пройти в горящий Воронеж. Но навстречу катилась беспорядочная масса отступающих машин, повозок, бойцов. Мы шли обочиною. Низко летали самолеты. Ясно были видны черные кресты на крыльях. Листовки: "Граждане Воронежа! Доблестная германская армия пришла к вам, чтобы освободить вас от тирании жидов и коммунистов!.."

Раздался необычный, какой-то железный, страшный, густой свист, нарастающий и дикий. Кто-то крикнул:

- Бомба!..

В ужасе бросились мы на землю, на траву под деревьями. Прогрохотал взрыв, ударило волной в уши, сознание померкло, заходила, заколыхалась земля. Мы лежали, обняв друг друга за плечи, держась за корявые корни дуба. Смрадный запах тротила. И тишина. Когда встали, увидели: все вокруг изуродовано. Черные ямы воронок. И всюду - на траве, на деревьях - кровь, земля, куски человеческих тел.

Стоны раненых. Четверых красноармейцев мы положили на телегу - с нами были еще другие дети, была девушка-пионервожатая и еще кто-то из взрослых, видимо, санаторский кучер. Вернулись в санаторий, он был уже пустым. Склад продуктов разграблен. Какие-то люди тащили из санатория даже матрацы, одеяла, кровати. Раненые к утру умерли. Могилу им вырыли (и я тоже копал) в санаторском саду. А ночью мы почти не спали. На юге в полнеба полыхало зарево - горел Воронеж.

На следующий день начались наши скитания. Небольшой группой мы ушли в лес: несколько детей, пионервожатая и чья-то мама (за кем-то она приехала, но вернуться в

Воронеж уже не смогла). Шли лесными дорогами, но даже они прочесывались "мессершмиттами". Несколько раз попадали под пулеметный огонь. К вечеру пришли в село Старое Животинное, там ночевали. Рано утром нас переправили на большом черном смоляном баркасе на левый берег реки Воронеж. Заливные луга. Когда шли к лесу открытым лугом, нас снова обстрелял немецкий самолет.

Около месяца мы жили на кордоне Песчаном. Было относительно спокойно. Иногда приходили партизаны. Вот тогда у одного парня я увидел впервые винтовку СВТ. Там наблюдали мы неравный воздушный бой. Несколько "мессеров" атаковали наш истребитель, видимо, И-15. Летчик сбил одну вражескую машину, но и его самолет загорелся. Летчик выпрыгнул, но слишком рано раскрыл парашют. Немцы на наших глазах буквально иссекли летчика из пулеметов.

С кордона Песчаного лесными дорогами мы вышли к железнодорожной линии, к селу и станции Углынец. Путь был нелегким и долгим. Не один день шли мы к Углынцу, а дня три. Ночевали в лесу. У нас были взятые из санатория одеяла. Одно стелили, другим укрывались. Переходили речку Усмань. Несколько лесных кордонов прошли в пути; судя по старым и нынешним планам и картам, мы проходили Плотовской и Тишинский кордоны, затем уже полями вышли к Верхней Хаве...

Отец нашел нас под осень в селе Анна, километрах в ста восточнее Воронежа. Что случилось с матерью и сестренкой, ни ему, ни нам не было известно. Немцы заняли главную часть Воронежа, остановились на выгодных позициях, на правом, высоком берегу реки Воронеж. по реке и проходил фронт. Левобережная (в то время очень небольшая) часть города была буквально стерта с лица земли и простреливалась через луг на много километров - далеко за город.

Только теперь, когда у меня самого вырос сын, я в какой-то мере могу представить себе и страдания моего отца, когда он узнал о разбомбленном автобусе, и радость, когда он нас разыскал. Да, он знал об автобусе, но его не покидала надежда на счастливый случай. Он изъездил за эти месяцы всю неоккупированную часть области, везде спрашивал о двух мальчиках двенадцати- и десятилетнего возраста. В поисках помогали ему работники районных и сельских контор связи.

Областные учреждения (которые успели) эвакуировались в город Борисоглебск. Там организовалось кое-как и областное управление связи, в котором отец работал. Начала выходить малым форматом областная газета "Коммуна". Городок стал центром области. Его тоже нещадно бомбили, особенно узловую станцию - Поворино.

Жили мы сначала в гараже городского отделения связи. Сентябрь был еще теплым. Ходили купаться. В Борисоглебске в одной пойме две реки: Ворона и Хопер. Однажды, когда мы уже уходили с многолюдного пляжа, налетел "мессер" и начал косить людей из пулеметов. Отец повалил нас со Славкой в какую-то яму и лег на нас сверху, прикрыл собою. Жертв было очень много, но в нас не попало.

25 января 1943 года наши войска вступили в Воронеж. Отход противника прикрывали некоторые немецкие части, а южнее Воронежа - итальянский альпийский корпус. Сейчас лежит передо мной красивая итальянская медаль: выпуклым крупным барельефом на фоне гор изображены солдаты, один со штыком наперевес, другой замахнулся прикладом. Красивая форма. Точны детали - до пуговиц на мундирах. Медаль эту я нашел на поле боя, но не в 43-м, а лет на пять позже. И на том же поле - нашу медаль "За боевые заслуги" и немецкий Железный крест с датой: 1939, наверное, за Польшу...

О том впечатлении, которое произвел на меня освобожденный Воронеж, я уже писал - и в ранних, и в более поздних стихах. Например, в стихотворении "Больше многих других потрясений...". Город был совершенно пуст и как бы прозрачен - от кирпично-розовых развалин, от белого снега.

Много жителей расстреляли немцы в Песчаном Логу на южной окраине Воронежа. Это наш воронежский Бабий Яр. О Песчаном Логе меньше пишут, меньше известно. Может быть, потому что там зарыто меньше людей?.. Но никто не должен быть забыт!.. Однако я знаю, жизнь, судьба часто бывает несправедлива не только к отдельным людям, но даже к целым городам и народам. Киев держали 75 дней - присвоили звание Город-герой. Через Воронеж восемь месяцев проходила линия фронта, восемь месяцев шли тяжелые, упорные бои. Но Воронеж наградили лишь орденом Великой Отечественной войны. Почему? Наверное, наше областное руководство плохо хлопотало...

Ни одной живой души... Кого не расстреляли - угнали. Неизвестно, что случилось с матерью, с сестрой... И город - как чужой, и нет родного дома. А любовь к родному городу занимала много места в моем детском, потом юношеском сердце. Позже иные боли и потрясения потеснили ее. Но в детстве и ранней юности я любил Воронеж любовью особенной - одухотворенной, щемящей, заинтересованной. Мы гордились своим городом, его историей, каждым малым его достоинством. Вот почему при встрече с разрушенным, сгоревшим Воронежем боль была такой долгой и неутешной.

То же можно сказать и о нашем доме на улице Лассаля. Больше всего люблю и вспоминаю всю жизнь именно его, хотя наша семья жила там едва ли более пяти-шести лет. Но нет в моей памяти роднее дома, чем тот дом № 176. Может, потому, что этого дома давно не существует? Несколько лет после 1942 года мне снилось, что наш сгоревший дом цел. Да и сейчас еще иногда бывают такие сны. В 1943-м я на памяти сделал рисунок нашего дома. Это было в Борисоглебске. Мы еще не знали, что дом сгорел. Рисунок сохранился.

Вместе с домом сгорела библиотека и архив Раевских (нашей ветви семьи Раевских; была еще близкая нам ветвь в Ростове, но она угасла, пропала еще до войны).

Архив выглядел так (в 1939-1940 годах): это были четыре очень большого формата и толщины книги. Но были они не напечатанные, а рукописные. В них были искусно переплетенные чьи-то письма, дневники, воспоминания, разные казенные бумаги с гербами, иногда и рисунки, фотографии, газеты. Переплеты кожаные, но неодинаковые - видно было, что переплетали их разные переплетчики в разное время.

На всех томах были оттиснуты золотом слова: "Архив семьи Раевских", а также римские номера томов: I, II, III, IV. Третий или уж, во всяком случае, четвертый был составлен моим дедом. Да, конечно, он и третий том сам составил и переплел. Он знал переплетное дело и любил переплетать книги. Моя мать много раз говорила мне об этом. У него был и переплетный станок, и все такое прочее. В эти тома не успели попасть военные дневники, которые вел он в 1914-1917 годах. Позднее и они сгорели. А дневники деда времен гражданской войны остались в вагоне, в нехитром его багаже. Ордена и документы были, к счастью, в карманах.

И вот не стало архива. А зажгли приречную деревянную часть Воронежа, раскинувшуюся на буграх, спускающуюся к реке, - увы! - не фашисты, а наши "катюши" с левого берега. Была, конечно, военная необходимость - обнаружить немецкие позиции, хорошо скрытые среди старых деревянных домов и деревьев. Но от этого сердцу не легче.

Помню я и библиотеку: золотистые корешки Брокгауза и Ефрона и другие многие-многое книги. Помню какие-то документы - большие хрустящие листы с орлами, фотографии деда - и в штатской форме, и в военной - со шпагой, с орденами. Когда смотрели снимки, мать иногда шепотом говорила мне:

- Потомственный дворянин... Кавалер орденов святой Анны, святого Владимира с мечами...

Сразу испуганно вмешивалась старшая сестра - тетя Катя:

- Что ты говоришь ребенку! Какой дворянин? Служащий!

Бумаги и снимки эти прятали, боялись дворянского своего происхождения.

Забавные бывали случаи. Помню, тетя Катя рассказывала моей матери сон:

- Ты знаешь, кого я во сне видела - Сталина?.. Мать хладнокровно отвечала:

- Царь снится к войне. Тетя Катя и вовсе пугалась:

- Что ты, Женя! Разве он царь? Он - вождь!

- Все равно царь!

Как раз в это предвоенное время арестовали мужа тети Веры, самой младшей из сестер, моей крестной матери. Муж тети Веры, Самуил Матвеевич Заблуда, работал в каком-то важном учреждении или на военном заводе. Самуил Матвеевич исчез бесследно. Его убили в 1937 году как польского шпиона. Он был из польской еврейской семьи. Тетку спасла другая фамилия и быстрый отъезд в Москву. К слову сказать, все сестры Раевские, выходя замуж, оставляли себе девичью фамилию. А тетя Вера до сих пор живет одиноко и до сих пор надеется, что каким-нибудь образом Самуил Матвеевич выжил, что он все-таки жив. Мы с Ирой у нее бываем, но редко. Тетя Вера показывает старые фотографии и свои медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За трудовую доблесть", последнюю юбилейную медаль...

Но я говорил об освобождении Воронежа. Мы написали на листе обгорелого черного железа мелом: "Мама! Мы живы! Наш адрес - Студенческая улица, дом 32, кв. 8. Папа, Толя, Слава". Подобных надписей много было на развалинах - на закопченных, обугленных стенах, на листах железа, на дощечках, если дом сгорел дотла.

А вокруг Воронежа - севернее, западнее, южнее - широко раскинулись поля боев. Мне шел четырнадцатый, Славе - двенадцатый год. С товарищем своим (еще по улице Лассалья, но сгоревшему дому) Юркой Суворовым мы ходили по этим полям.

Разбитый ангар гражданского аэродрома. Взойдешь на взгорок - и насколько хватит взора - поля, плавные спуски к лугам, к Дону, от Семилук до Подгорного - все покрыто трупами. Многие места были минированы, но мы не боялись - ходили. Шла весна 1943 года, едва-едва начинала пробиваться травка, и мины на черной земле становились заметны. Ставили ведь их люди, ставили в спешке, порой под огнем... Я шел впереди, пристально всматриваясь в землю. Убитые были в основном наши, но порядочно было и немцев.

У мальчишек всегда сильна тяга к оружию. Мой Володя в абсолютно мирное время ухитрялся все-таки добывать где-то патроны, порох, делал из трубок пушечки. А уж наша оружейная страсть в сорок третьем году и позже удовлетворена была через край! Бывалые фронтовики удивляются моему знанию стрелкового оружия последней войны. Но ведь солдат мог всю войну пройти с винтовкой или автоматом одной системы. А у нас было все: от легкого, почти игрушечного на вид итальянского карабина до наших противотанковых ружей. У кого-то из ребят я видел даже большущий автомат канадского производства, бог весть как попавший в Воронеж. А наши мосинские трехлинейки и немецкие винтовки фирмы "Маузер" - этого добра было навалом, они валялись всюду, как дрова. ППШ, пулеметы: МГ-35 и наши "дегтяревские" - все было. Но пулеметы, в сущности, нам были не нужны. Вообще было нужно оружие, которое можно скрыть под одеждой. Поэтому из винтовок мы делали обрезы.

Всем хотелось иметь револьвер или пистолет, но они были редкостью и ценились дорого. У меня был немецкий "вальтер" (9 мм) и наган (револьвер с барабаном, называли его еще милиционерским, "легавским"). Наган мне подарил "на всякий случай" дядя Вася (В. М. Раевский), вернувшийся из госпиталя инвалидом. Он был ранен в бою, лежа на земле, окапывался. Пули заделали несколько позвонков, пришлось потом долго лежать в госпитале. "Вальтер" я купил на толкучке у барыги за

10 золотых пятерок 1901 года. Он был хорош тем, что был разработан под патрон "парабеллума", а этих патронов было очень много.

Сейчас разыскивают без вести пропавших героев войны. Находят иногда чудом сохранившиеся документы убитых, записки в гильзах и тому подобное. А во время войны (да и несколько лет после нее) десятки тысяч трупов в полях и в лесах вокруг Воронежа лежали незахороненными. Путешествуя по тем местам пешком или на велосипедах, мы, мальчишки, видели это своими глазами. В первые годы после боев легко было различить немцев и русских по шинелям, по оружию, по каскам, по документам. Но оружие постепенно подбирали, одежда истлевала. Году в сорок шестом остались одни лишь косточки белые. Но и тогда еще можно было различить останки - но пуговицам. Ржавые железные - наш солдат, белые окислившиеся - немец (алюминиевые были у них пуговицы). К сорок девятому году, когда наконец все разминировали, и этих примет не осталось.

Поле боя между Воронежем и Подгорным мне особенно хорошо известно: каждое лето мы с ребятами ездили через него на велосипедах на Дон - купаться, ловить рыбу. На наших глазах это поле меняло облик. В сорок девятом году останки убитых наконец собрали и захоронили у Задонского шоссе около города в большой братской могиле. Сейчас над могилой памятник погибшим в боях за Воронеж.

Я немало мог бы написать о войне. Но этот материал хоть и годится для стихов, но далеко не всегда. Много требует прозы. Вот почему несколько неуклюжим получилось стихотворение "Поле боя" (1967). Да, я хорошо помню лица восемнадцатидвадцатилетних мальчишек с винтовками, принявших на себя в 1942 году страшный удар - лавину танков на земле и лавину бомб с неба. Промороженные, высушенные ветрами, их тела сохранились еще к весне 1943 года.

После того как Воронеж был освобожден, потянулись долгие недели, а потом месяцы ожидания какой-либо вести о матери и младшей сестренке. Но никаких вестей не было. А ведь они могли погибнуть и под бомбами, и в Песчаном Логу, и где-то там, далеко, куда большинство жителей города угнали немцы.

Стихия смерти бушевала вокруг, но странное дело: мы со Славкой свято и твердо верили, что мать и сестренка найдутся. Мало того, мы отыскивали на развалинах и пепелищах детские игрушки для Валечки. Так звали нашу сестренку в раннем детстве, а вообще-то она Валерия, и сейчас ее зовут Лерой. Имя сменили словно бы для того, чтобы поскорее забылся ужас, который они с матерью пережили.

Росла гора кукол и прочих игрушек для Валечки. Я сделал для нее деревянный кукольных! гарнитур: кровати, стулья, столик, шкаф. Собирали мы для Валечки и цветные обрывки, лоскутки. И кровать для нее самой нашлась, и детский стульчик. Отец почему-то с печалью смотрел на нашу суету. Особенно когда мы приносили какую-нибудь очень красивую игрушку. Шел июль 1943-го. Разлука и полное безвестие длились уже второй год.

И вдруг отец пришел с работы веселый, радостный, словно пьяный:

- Нашлись, ребята, и наша мать, и наша Валечка! Они в Борисоглебске! Завтра приедут на почтовой машине. Я сейчас по телефону с мамой говорил! Делайте полную уборку в квартире!

Следующим утром я услышал со двора радостный Славкин голос:

- Толя! Мама приехала! С Валечкой!

Я молнией скатился с четвертого этажа на лестничным перилам. У старинных кованых, но всегда открытых ворот стояла мама в каких-то нищенских лохмотьях, в старых галошах на босу ногу, подвязанных веревочками, по щекам ее текли слезы... А у Валечки в руках был запеленутый в тряпку початок кукурузы. Она его баюкала.

Была радость. Но для нас со Славкой она была какой-то будничной. Мы так долго их

ждали, что появление их казалось совершенно закономерным. Мы считали, что они не могут погибнуть (так в детстве не верят в смерть!), и они не погибли.

На другой день пошли с матерью и Валечкой в Покровскую церковь. Все церкви в городе, даже полуразрушенные и обгорелые, действовали. Шла служба. И мне запомнились удивительные слова поющего:

- Христоробивому русскому воинству Красной Армии - победы!

И хор подпевал:

- По-бе-ды!..

И гулко в обожженных стенах и куполах отдавалось:

- По-бе-ды!..

...